

НИНА ФОНШТЕЙН



Моя Наша
ЖИЗНЬ

12+

Нина Фонштейн

Моя Наша жизнь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43712987

SelfPub; 2019

Аннотация

Индивидуальные воспоминания автора содержат типичные черты Той Нашей жизни. Вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам того времени, автор защищает кандидатскую, потом докторскую диссертацию, воспитывает школу молодых ученых. Жизнь автора была богата встречами и дружбой с интересными людьми. После развала науки автор уезжает работать в США, поближе к сыну и внукам. Сформировавшиеся в последующие 20 лет впечатления описаны в книге «Привет из Чикаго. Перевод с американского на русский и обратно». Все фото из архива автора.

Содержание

Моя Наша Жизнь	4
Как бы введение и немного о себе	4
Семья как семья	9
Папа	13
Мама	19
Мы в Германии	26
Валя	31
Мои двоюродные и пр	37
Папина смерть	46
Пищу, сколько себя помню	52
О Григории Горине	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Моя Наша Жизнь

*Времена не выбирают В них живут и умирают
Александр Кушнер*

*Он пишет, бедный человек, Свою историю
простую, Без замысла, почти впустую Он
запечатлевает век.
Давид Самойлов*

Как бы введение и немного о себе

Много лет назад услышала фразу, приписываемую Галичу и звучащую как бы неоспоримо: «Каждый еврей может написать хотя бы одну пьесу». Оказалось, что я не настолько самоуверенна, как всю жизнь представляюсь другим, потому что при всей природной графомании не примеряла эту фразу к себе и пьес писать не пыталась, хотя иногда и «бралась за перо». Правда, очень давно и браться перестала, поскольку Виктор Листов после чтения нравившегося другим рассказа приговорил:

– Сюжет неплох, но нет странности письма.

Графомания находила выход в письмах, когда было кому писать. К сожалению, само письмо (и писание), которое неотъемлемо включало хорошее перо и прежде всего прият-

ную на ошупь бумагу, постепенно исчезло и как способ передачи информации и как источник удовольствия.

Когда мне было десять лет, мы проводили лето в Сельце, под Брянском, и почему-то вокруг не было ни пера, ни доступной бумаги. «Писала» я на веранде, позируя перед московским же мальчиком, с которым не обменялись за все лето ни одним словом и которого держали на такой же короткой цепи в доме напротив.

Выводила что-то еле различимое карандашом по кальке, на которой папа чертил вечерами технологическую детализацию. Операция первая (и первый лист кальки) отмечала красным карандашом те поверхности заготовки, которые подвергались обработке в первую очередь. На следующем чертеже деталь была уже тоньше на удаленный слой, красные линии были уже на других уровнях или поверхностях и так дальше – пока вместо круглой заготовки вычерчивалась желанная деталь.

Нет ли какой-то глубокой закономерности в этом воспоминании о процессе врезании вглубь именно сейчас, когда я хочу вспомнить-воссоздать свою жизнь, потому что каждый из следующих эпизодов относится к последующей и по сути другой жизни, после некоего удаленного поверхностного слоя, к все более обнаженным нервам и меньшему остатку жизни?

Юра называет эти записки «жизнь в эпизодах». Хочется надеяться, что эти отрывочные эпизоды жизни моей и моих

друзей или просто знакомых помогут воссоздать постепенно исчезающий из памяти дух той *нашей* жизни, детали и события времени длиной в *ту* мою жизнь.

Я повторяю свою жизнь вслух и не могу изменить её. Или создать задним числом мое активное отношение к тому, что творилась со страной действиями сверху, – активности не было. За мной была репутация скорее активной аполитичности. Прошу не путать с намеренным конформизмом, хотя ненамеренно все там были. И все-таки события моей жизни, вне зависимости от моей активности, отражают *нашу* жизнь, в не зависящих от нас обстоятельствах.

Никогда раньше не задумывалась, почему не присоединялась к часто обсуждаемым позднее встречам на московских кухнях. Потому что узнала о них от Кима, когда уже и не надо было прятаться? Нет, сознаюсь, что если бы и знала, вряд ли я бы там была. Исходить в гудок не для меня: прятала правду от себя, загоняя себя по уши работой, чтением, понимая, что если додумаю мысль до конца (действие, которое теперь считаю для себя обязательным, а тогда прятала мысль вместе с головой в песок), то тогда уж возьмусь за пулемет.

Когда объясняла среди себя мою роль в условиях военного невмешательства, формулировала достаточно точно и проверяла строго, соответствую ли:

– Не увеличивать непорядочность в доступной мне части мира.

А когда перестройка вывела моих друзей на улицы и ми-

тинги с вполне разделяемыми мною лозунгами, сказался уже оmozоленный инстинкт не присоединяться к толпе, которой в целом не верю до сих пор.

Петр Дейнека, один из активных американских баптистов, сподвижник Билли Грэма, который привез в начале 90-х в Москву библии и деньги в рамках одной из многочисленных программ Возрождения, спросил меня как-то, верю ли я тогдашнему Правительству (уже без Гайдара, которому чисто по-человечески симпатизировала). В тот момент я была под впечатлением показанных накануне по ТВ наших правителей, стоящих в церкви со свечками:

– Я верю, что кто-то из воинствующих атеистов под влиянием личных сверхсобытий мог в одну ночь стать верующим (именно так случилось с близкой моей подругой Таней Киселевой). Но если вдруг все вчерашние коммунисты вдруг стали креститься и ходить в церковь, по-моему, они как были лицемерами, так и остались.

Я была уверена, что рядом с моими друзьями и другими раскрепощенными участниками дискуссий на московских кухнях, многие в тех толпах митингующих незадолго до того не просто голосовали «за» стоя, но еще и выносили порицания, в том числе и за посещения церквей, обосновывали отказы в отъездах, не подписывали злосчастные характеристики и подписывали совсем другие письма.

Дейнеку знала, поскольку они с женой снимали несколько лет нашу квартиру на Молодежной улице. Кто-то из знако-

мых дал меткое, хоть и грустное определение семьям, подобным нашей: «поколение брошенных родителей». Вроде бы и стыдно было, потому что уже была и доктором и профессором, но после поездки к Мише в Чикаго в 92-м, я произвела небольшие и простые подсчеты (моя зарплата была 50 долларов, Юра не очень регулярно получал по 150) и сказала:

– Или мы больше к Мише не едем, или надо сдавать квартиру.

Сдали и продолжали сдавать как раз Дейнекам года три, а сами снимали квартиру поменьше, зато ездили в Чикаго «на свои». Вспомнишь-вздрогнешь. Как не про нас. И все-таки это про нас: мы не просто выживали и выжили, но и состоялись. Как говорил светлой памяти Марк Львович Бернштейн:

– А если бы ещё и не мешали?

В его словах был вопрос – как бы неуверенность, было бы для нас лучше или хуже. Но на человеках нельзя ставить параллельных опытов. Мы у себя одни. Мы такие, какие получились, ломясь через или обходя препятствия, рассчитывая или переоценивая свои силы, опираясь на поддержку близких и благодарные случайным удачам.

Семья как семья

Мои бабушки и дедушки умерли еще до моего рождения и поскольку они были людьми без громких биографий, объективно узнать что-либо про предыдущие поколения папиной и маминой семей (из Интернета, например) мне было не дано.

Знаю только, что мама назвала меня Ниной в честь бабушки с папиной стороны (русская интерпретация Нехамы, что дает Юре повод время от времени меня подстегивать: «Нехама, делай ночь, Нехама»).

Папины родители были мелкими ремесленниками, мамыны, как я понимаю – мелкими же торговцами, но по совпадению обе семьи из Киевской губернии переместились в Москву, мамина в 1922-м году, а папина в 1927-м, соответственно с шестью и пятью детьми. Шестой (один из старших папиных братьев, дядя Макс) еще в 18-м ушел из семьи в буквальном смысле прямо в революцию. Он дошел в своем служении до поста полпреда (посла) советской власти в Туркменистане и умер в 1936-м, что позволило ему быть похороненным на Новодевичьем кладбище, а не в безымянных могилах последующих печально известных лет.

Всего в папиной семье было три брата и три сестры, и папа был младшим в семье. В маминой семье было пять сестер и один брат, мама была третья по старшинству. Папина семья

нашла поначалу помещения в подвале жилого дома, мамина – в чердачном втором этаже над ткацкой фабрикой.

Там же жила и я до девятнадцати лет, в квартире из четырех небольших комнат, с удобствами на улице. Вибрация от ткацких станков двигала посуду, поэтому, если кто-то забывал запереть дверцу буфета, чашки вываливались на пол. А еще строго под нами проходила линия метро Измайловская – Киевская, и мы могли точно определять интервалы между поездами, как начало и конец работы метро.

До войны все четыре комнаты принадлежали четверем младшим Ясногородским (две старшие сестры переехали к мужьям, мама была следующей по возрасту).

При переезде с Украины мама с тринадцати лет начала работать, поддерживая старших сестер, которые продолжали учиться и вскоре вышли замуж. Знаю, что они с папой познакомились, когда обоим было по семнадцать, первого апреля: папа сказал какую-то первоапрельскую шутку, заставившую маму оглянуться. В восемнадцать они поженились, в 1930 м, когда им было по двадцать, родилась Валя. Им пришлось много переезжать, работая по новостройкам Казани, Челябинска, Иркутска, что помогло папе вырасти как специалисту и семье встать на ноги. Я появилась на свет через десять лет после Вали, за год до начала войны.



Как-то совпало, что обе семьи – что Фонштейны, что Ясногородские, не сохраняли и не сохранили формальной причастности к еврейскому быту, не говорили на идиш (мы унаследовали несколько слов, безуспешно пытаясь обмениваться короткими замечаниями, чтобы Миша нас не понял), не следовали еврейским праздникам, никогда не ходили в синагогу.

Мамин отец умер в 1929-м, остальные бабушки и дедушки умерли один за другим в 1936-37-х годах, так что мне достались только их фотографии, и тех немного.

В войну три семьи из четырех, проживающих в нашей

квартире, включая нашу, уехали в эвакуацию. Мамин младший брат и сестра (Матвей и Этя) уезжали с их заводами и оказались в Свердловске, мы – под Свердловском, в Кауровке, куда со школой уехала Валя. В 1943-м году, когда немецкую армию достаточно далеко отодвинули от Москвы, эвакуированные стали возвращаться. Папа был на фронте, но организовал нам проездные документы, и мы снова оказались в той же квартире и комнате, над стучащими в три смены ткацкими станками и регулярно проезжающими поездами метро.

Тетя Белла, самая младшая мамина сестра, в эвакуацию не уезжала, муж ее погиб на фронте, и она откровенно бедствовала с двумя детьми. (Уже после войны, после неудачной попытки снова выйти замуж, родилась Лена, третий ребенок). Матвею и Эте разрешение на возвращение не дали, и в их комнаты поселили вдов фронтовиков. Тетя Оля была одинокой, у тети Дуси был сын Ленька моего возраста. Некого спросить, что было раньше: заняли комнаты Матвею и Эти, и поэтому им некуда было возвращаться, или тетю Олю и Дусю поселили в пустующие (предполагалось, навсегда?) комнаты уехавших в эвакуацию.

Так или иначе, в маленькой квартире с маленькой, не более трех квадратных метров, кухней, с отоплением и водопроводом, но без канализации, жило одиннадцать человек, пять взрослых и шестеро детей. Но эти одиннадцать образовались позже, когда мы с папой вернулись из Германии.

Папа

Папа был младшим и очень преданным семье ребенком. В архиве нашей семьи тлеет напечатанная на машинке на очень плохой бумаге папина повесть «Юность в огне», посвященная старшему брату Максу. По-видимому, папа посылал ее в какое-то издательство, потому что в той же папке хранится и чья-то безымянная рецензия, не отвергающая право папиного сочинения на жизнь, но подразумевающая большую доработку, на которую у отца уже не было вдохновения или времени, или и того и другого вместе.

Папины родители образования, по-видимому, не имели, но вложили тягу к образованию в своих детей, и та с усилением передалась не очень многочисленным внукам, поэтому в нашем внуческом поколении три профессора – доктора наук (пять, если считать еще двух примкнувших из жен и мужей). С маминой стороны – еще один.

Папа начал работать лет в 16, с самых низов, сначала как токарь (все в том же домашнем архиве хранилась книга с надписью «Лучшему токарю района»), потом как фрезеровщик («Лучшему фрезеровщику района»). Потом, уже с мамой и Валею, папа ездил на новостройки заводов Казани, Челябинска, Иркутска, передвигаясь в ряды самоучек-инженеров по механической обработке металлов и вырастая до ведущего специалиста в своей области.

У меня хранятся еще довоенные папины авторские свидетельства на изобретения, относящиеся к обработке заготовок для снарядов. По строчкам в трудовой книжке понимаю, что отец уже работал инженером в Наркомате боеприпасов. Помню разговоры в семье, что в связи с этим у отца была бронь, освобождающая от призыва на фронт, однако в той же книжке вижу, что 7-го июля 1941-го года отец ушел воевать добровольцем, пополнив московское ополчение.

В том ополчении выжили единицы, отцу повезло, однако, хоть и прошел он всю войну до Кенигсберга (среди других наград есть медаль «За взятие Кенигсберга») всего с двумя контузиями (чинили пушки-танки нередко прямо на передовых), через десять лет после окончания войны папы не стало, хотя ему было всего 45 лет.

Отец был негромкий и не очень разговорчивый человек, но, как и многие умеющие держать себя в руках люди, в редких экстремальных случаях его вспыльчивость не имела пределов. Сама помню, по крайней мере, один такой случай.

Сотрудник института, где работал отец, нехорошо отозвался о евреях. Папа этого не терпел, вмешался. В ответ был обычный огульный крик: «Вы в войну сидели в Ташкенте, когда мы воевали». Папа, сжав зубы, запустил в него стулом. Был товарищеский суд, папу, наверно, осудили за сломанный стул, но по существу оправдали. «Пострадавший», как выяснилось, провел войну в тылу.

Запомнилось и стало установкой на жизнь папино отно-

шение к еврейству и антисемитизму. Отец не знал еврейского языка, не был верующим евреем и не следовал никаким специальным обрядам, но никогда не забывал, что он еврей. Когда его близкий приятель сказал как-то в очередной тяжелый период: «Я бы и крест на пузо повесил, чтобы отстали», – папа перестал с ним разговаривать.

Я не знаю, каково было быть евреем на войне, но уже после войны в 1948-м папа потерял работу и в течение года не мог никуда устроиться при всей биографии фронтовика и профессионала (был убит Михоэлс, шел знаменитый еврейский процесс). Тем не менее, папа воспитал нас искать причины неудач в себе, повторяя с подчеркнутым заиканием *«Мменя нине пприняли рабботать ддиктором на ррадио, потому что я евврей»*.

Папа не только привил мне любовь к чтению, но и создал отличную библиотеку подписных изданий, которые он отслеживал в других городах, где бывал в командировках (многие тома приходили уже после его смерти).

Он многое недоговаривал, не старался разъяснять доводы, но всячески подчеркивал важность хорошей учебы, очень гордился нашими похвальными грамотами и Валиной золотой медалью (до моей он не дожил).

У меня хранятся его записки с фронта (это заставило меня научиться писать и читать в четыре года), у него был четкий с наклоном почерк, мне он писал коротко, маме подробно. Храним его, на нескольких страницах, длинное письмо маме

с объяснениями пути в Германию, со всеми пересадками.

Он очень дружил с двумя оставшимися в живых сестрами, Когда он был в Москве, в воскресенье (суббота тогда была рабочим днем) мы обычно вдвоем с папой (Валя была уже слишком большая для визита «с ребенком») ехали в гости к одной из них. Телефонов тогда не было, но все оказывались дома и были очень рады папе, которого очень любили.

У папы был абсолютный слух, он мог играть на любых музыкальных инструментах, наиболее свободно – на пианино, не зная нот, подбирая немедленно нужную мелодию двумя руками по слуху. В компании он говорил немного, но все с удовольствием ждали его пения. У него был мягкий тенор, те песни, что он пел наиболее часто, я помню наизусть и сейчас. Это были и фронтовые:

«Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза...»

Или:

«В этом зале пустом мы танцуем вдвоем,
Так скажите хоть слово, сам не знаю, о чем...»

Больше всего я любила, и он часто для меня их повторял – романтические:

«Три юных пажа покидали

Навеки свой берег родной...»

Мне очень нравилось:

«Кто любит свою королеву,
Тот молча идет умирать».

Созвучной этой была песня о жестоком индийском радже:

«Край велик Пенджаб
Ты жесток, раджа»,

которую, как и про трех пажей, я пела уже и маленькому

Мише:

После папиной смерти в кармане его пиджака мы нашли стихи Анненского

«Одной звезды я повторяю имя,
Не потому, что я ее люблю,
а потому что мне темно с другими...»

«Не потому, что от нее светло,
а потому что с ней не надо света».

По-видимому, он собирался петь и на эти стихи. Маме, чтобы улучшить ее настроение, он пел:

«Всею душой полюбил я Аннету,

Для нее жизнь готов я отдать».

Папино пение составляло немалую часть моих о нем воспоминаний.

Мама

Мама слишком рано начала работать, чтобы получить хотя бы среднее школьное образование. Поскольку папа часто и подолгу бывал в командировках (его командировочные были важной частью семейного бюджета на четверых при одном работающем), мама ему часто писала, не всегда орфографически грамотно, но подробно и эмоционально. Если она не возилась на кухне, она много читала: помню ее всегда с книжкой, почему-то в памяти часто с Бальзаком.

Специальности у мамы никакой не было, все зависело от спроса и обстоятельств. Когда ездили с папой по новостройкам, она часто работала на складе инструментов; в эвакуации, чтобы быть ближе к Вале, которая выехала раньше нас со школой, – уборщицей в ее школе. После возвращения в Москву была, как тогда называли, надомным кустарем. Теперь бы ее назвали индивидуальным предпринимателем. Я была «несадовская»: при попытке сдать меня в сад ничего там не ела, поэтому маме надо было зарабатывать деньги, не выходя из дома. Она, кажется, взяла у кого-то на время чулочную машину и делала чулки, которые потом дома же крашила и куда-то отвозила пачками, в моем сопровождении.

Бесспорной была мамина организационная жилка: умение продумать последовательность действий при сборах, рассчитать семейные траты с максимальной экономией.

Когда приехали к папе в Германию, там оказалось много таких же офицерских семей с детьми разного возраста, из разных городов. Для малышей вроде меня (мне было 5 лет) были организованы детские сады (и опять после двух-трех дней взаимных пыток воспитатели оценили меня как несадовскую, и я беспризорничала дома), школьников направляли в различные интернаты, в зависимости от класса. Валя уже была в седьмом классе, и ее школа-интернат находились в Магдебурге.

В Стендале, где папа командовал дивизионными артиллерийскими ремонтными мастерскими, интернат только формировался. По-видимому, местное военное начальство видело маму на каких-то коллективных мероприятиях. Она всегда была собранной, решительной, и это понравилось генералу (кажется, его фамилия была Шкуро), у которого сын ходил в только что организованную русскую школу.

Маме предложили возглавить организацию интерната для детей младших классов, которых свозили в Стендаль на рабочую неделю из других городов. Нужно было оборудовать интернат мебелью, обеспечить приготовление питания, подобрать штат, который бы справлялся с дисциплиной достаточно разболтанных и часто слабоуправляемых детей старших офицеров.

Для мамы чины родителей значили мало, за ней закрепилось прозвище «генеральша», работа ей нравилась, и я видела ее дома еще меньше, чем папу.

Когда вернулись в Москву, мама работала в каком-то канцелярском магазине на Земляном Валу, где ее застала и денежная реформа 1947-го года, когда вся имеющаяся наличность, кроме оговоренной небольшой суммы, у всех граждан вдруг уменьшилась в 10 раз.

Когда папа был год без работы, постепенно были распроданы все наиболее дорогие безделушки, которые мама купила в Германии, но дома отсутствие денег не обсуждалось, хотя у мамы все чаще случались сердечные приступы, гипертонические кризы, нередко заканчивающиеся вызовом скорой помощи. Поэтому, когда папа, наконец, нашел работу, на которой и оставался до конца жизни (какой то «ящик» на Новослободской, НИИ оборонной техники с условным названием «Оргтрансмаш»), он настоял, чтобы мама ушла с работы, и она с тех пор до конца жизни не работала.

Через семь лет папа умер, маму признали инвалидом, и вначале мы получали с ней вместе 580 рублей, а когда мне исполнилось восемнадцать, ее пенсия до конца жизни составляла 370 рублей (тридцать семь после реформы 1961-го года).

После смерти папы единственным работником (и основным кормильцем) стала Валя. Мне нужно было еще два года учиться в школе, а через год после этого я вышла замуж, и еще через год родился Миша. Мы с Юрой подрабатывали, но наверняка на Валу падала большая (с ударением на «о») финансовая нагрузка.

Мы очень тяготились, что при этом Валя должна жить с нами в проходной комнате хрущовки, и только мамина рачительность позволила за два года после начала нашей работы собрать деньги на кооперативную квартиру, куда Валя переехала.

Мама жила сколько-то лет со мной, потом с Вале́й. Независимо от конкретного ее места, мы обе давали ей какую-то постоянную сумму в месяц и потому, что пенсия ничему реальному не соответствовала, и чтобы у нее было ощущение *своих денег*. Текущие расходы были на мне или Вале, так что мама копила эти деньги и была довольна, что может позволить себе делать нам существенные подарки ко дню рождения или оплатить, например, съём дачи, куда мы неизменно ее вывозили на лето, – сначала одну, потом с Мишей.



Мама была не очень здоровым человеком, но мы никогда не видели ее лежащей в кровати. Её ключевые слова, когда мы болели, были «Надо перебарывать». По мере необходимости глотала таблетки от повышенного давления, головной боли, расстройства желудка – все без посещений врача, и всегда была на ногах.

Маму возмущала какая бы то ни была праздность, простой в делах. Классическую фразу, которую она в сердцах выдала Вале: «Или выходи замуж, или иди в аспирантуру, делай что-нибудь», – использую до сих пор, когда борюсь с бездействием кого-нибудь из моих близких.

От папы мы унаследовали впитавшуюся в сознание необходимость оберегать маму, заботиться о ее здоровье. За двадцать четыре года после смерти папы, при всех разъездах-переездах мы ни разу не оставили маму одну на ночь, будь то московская квартира или снятая на лето дача. Если уезжала или не могла приехать Валя, приезжала я. Мы все настолько привыкли докладываться маме с любой новой точки и звонить каждый день из командировок, что как-то на Уральской школе металлургов я шла вечером зимой несколько километров, потому что телефон нашего лагеря не работал. Я знала, что мама будет смертельно волноваться, что *со мной* что-то случилось, потому что она знает, что я *обязательно* позвоню (должна позвонить), волнуясь о *её* здоровье.

Умерла мама мгновенно, успев только произнести «Ва-

ля», с которой тогда жила.

Мамы давно нет, но она успела спясть нас с Валею крепко и на всю жизнь. Я догадываюсь, что нечасто сестры с разницей в возрасте в десять лет связаны друг с другом так крепко, как мы с Валею. Мудрая мама внушила Вале, что я слабее здоровьем («рахитик военных лет», как посмеивалась я). Мне, с другой стороны, был прочно привит комплекс вины перед Валею, что она не устроила вовремя свою личную жизнь из-за нас, сидящих на ее шее (что было частично правдой), хотя в числе причин Валиной жертвенности была и забота о маме, и Валя вышла замуж уже после ее смерти.

Помню, что вскоре после смерти мамы мы вышли с Валею из какого-то магазина и, привычно повернувшись к телефонному автомату в силу привитой обязанности звонить маме – отчитаться, вдруг с болью окончательно поняли, что мамы больше нет, отчитываться некому.

Мы в Германии

Папа мечтал демобилизоваться сразу после окончания войны, но инженерные службы задерживали в армии для ремонта и вывоза военной техники, даже вызывали из Союза дополнительных специалистов для демонтажа оборудования немецких заводов.

Офицерам, которые участвовали в военных действиях и не видели свои семьи в течение всех лет войны, было разрешено привезти родных в Германию.



Когда мы приехали, мне было уже 5 лет, и я, если не всё, то многое помню. Для размещения приезжим выдавали на выбор список квартир, подлежащих уплотнению. Помню, что папа вернулся после предварительного осмотра нескольких квартир и сказал, что одна квартира ему очень нравится. И обставлена хорошо, и, что самое главное, там есть пианино.

Собрались, поехали уже всей семьей – селиться.

Приехали – помню мамино вопрошающее выражение лица: где хорошая мебель, где пианино? Папа знаками показывает нежелание поднимать разговор (он немного говорил по-немецки и соответственно вел переговоры).

Живем какое-то время с тем, что есть. Папа как всегда вежлив и обходителен, родители убегают на работу, Валу отвозят в воскресенье в Магдебург, я торчу с книжками и местными ребятами вокруг дома, питаюсь тем, что оставила мама. Вся проблема моей «несадовости» была не только и не столько в отсутствии аппетита, а в том, что я ела только то, что готовила мама и к чему я привыкла. У Вали это ограничение в силе по сию пору: «С незнакомыми не знакомимся», заставить ее пробовать что-то непривычное невозможно.

Спустя какое-то время в наши две комнаты въезжает симпатичный диван, потом круглый стол, еще через какое-то время – пианино.

Папа спрашивает у фрау Эммы причины изменений.

– Мы увидели, какой вы прекрасный и порядочный человек, герр офицер. Вначале мы опасались. Жильцы, что были

перед вами, при отъезде сняли все занавески с окон и срезали кожу с диванов.

За время нашего пребывания в Германии мы жили в трех городах, везде история повторялась. По-видимому, многие военные считали правильным экспроприировать немецкую собственность, помня о потерях на Родине – не мне их судить, но папа был предельно щепетилен.

Поскольку оба работали и получали зарплату, в Зальцведеде (наш последний пункт) папа смог купить мотоцикл с коляской и пианино, о котором мечтал. Магазинов в разрушенной Германии не помню, но были какие-то пункты, где можно было купить предметы обихода, которые неизвестно как попадали в хозяйственные части военных подразделений.

Немцы пользовались «гешефт» пунктами, где можно было выменять, например, уют на пачку чая, старые консервы на настольную лампу. Можно было принести муку, сахар и какое-то варенье из старых запасов (тогда-то я впервые увидела у наших «хозяев» запасы законсервированных еще до войны компотов и солений) и заказать в пекарне торт.

В 1947-м у папы нашли язву желудка, и он был счастлив найти причину демобилизоваться. Предлагали подлечиться в Карлсбаде и продолжать службу, но он был несгибаем. Стали паковать, папа заказал деревянную обшивку к мотоциклу и пианино, получил официальные документы на право их вывоза. Спустя несколько дней он пришел с работы очень огорченный:

– Аня, надо срочно искать покупателей и продавать мотоцикл и пианино. Меня назначили начальником эшелона. Я не могу допустить, чтобы на меня указывали пальцем, что я вывожу всю Германию.

Ехали мы в пульмановских вагонах, в каждом из которых размещались десятки семей. Я, конечно, не видела весь эшелон, который периодически просматривал папа, но мне уже было семь, и я поняла, что значит «вывозить Германию». Везли мебель, унитазы, ванны, огромные сундуки. Везли один сундук и мы: с сахаром и мукой для Беллы и ее трех детей.

Валя

Мы с Вале́й полные противоположности, что внешне было еще заметнее в молодые годы, пока я не располнела. Валя всегда была полненькой, если не толстой девочкой, потом полной девушкой с кудрявыми волосами. Я была тощая, с прямыми волосами, которые в школьные годы заплетала в косу.

Валя, по маминым словам, всегда была флегматиком, которую было трудно чем-то заинтересовать или тем более восхитить. Я была легко возбудимой юлой, с энтузиазмом включалась в любое новое начинание.

Валя всю жизнь отличалась жертвенностью, глубокой любовью к маме.



В эвакуации мы попали в ситуацию, когда папин аттестат и мамины заработки уборщицы не спасали нас от голода. Мама изводилась и надрывалась. Валя научилась вязать, пропустила учебный год и кормила нас тем, что выменивала на связанные ею носки и варежки. (Кстати, в мои шесть лет Валя научила вязать и меня). Лет с семи Валя училась играть на скрипке, но после эвакуации в музыкальную школу не вернулась.

Мы обе много читали, но когда Валя начала преподавать

в школе «русский язык и литературу», постепенно выяснилось, что она любит язык, его историю (она и диссертацию сделала по истории языка), этимологию слов, структуру речи, но литературу любит меньше, хотя преподавателем она была отличным (это я слышала неоднократно от ее учеников).

Учились мы обе неплохо, обе окончили школу с золотой медалью, но Валя училась глубже и серьезнее, тратила на выполнение уроков больше времени, а я, наверно, довольствовалась необходимым минимумом, чтобы родители были довольны.

Мы жили на краю Москвы, в районе тогдашней Благуши, которую прекрасно описал Михаил Анчаров. Евреев среди выпускников было мало, претендентов на медаль – тем более, поэтому наши медали никому в РОНО глаз не мозолили, и прощание со школой у Вали ничем не было омрачено. Но дальше судьба приготовила ей немало болезненных укулов.



Валя (справа) с подругой

Валя училась ровно без особых пристрастий к какому-то предмету, но подумывала о химии. Как я потом узнала (мне было девять лет, когда Валя кончила школу), она пошла сдавать документы в приемную комиссию химфака МГУ. Там молодые парни с уважением посмотрели на ее аттестат с золотой каемкой, но сочувственно сказали:

– Мы вам не советуем подавать документы на наш факультет.

Шел 1949-й год. Валя могла бы поступать в какие-то инженерные вузы типа химико-технологического, но она не любила и боялась черчения, папа в это время возможно был в командировке и не успокоил, что поможет.

Кто-то сказал Вале, что на литфаке Пединститута им. Ленина будет набор в группу лингвистов (имелось в виду исследователей языка – не учителей). Валя сдала документы туда и была принята. Однако, после окончания первого курса группу лингвистов перестроили в обычную с перспективой диплома учителя.

И это во многом определило всю Валину дальнейшую жизнь с бесконечными стопками тетрадей дома. Тем более, что после смерти папы Валя работала на две ставки, часто в двух школах.

Когда давление необходимых заработков ослабло, Валя сделала диссертацию о становлении русского языка в предпушкинский период (очень интересно было читать даже

нам), но ей пришлось долго ездить по городам и весям, чтобы найти ученый совет, который согласен обсуждать и поддерживать работу по русскому языку, представленную некоей Фонштейн.

После защиты диссертации необходимость преподавать литературу тяготила, Вале хотелось преподавать исключительно язык, что было возможно только в вузах, где учили русскому языку иностранцев.

Соответствующие кафедры были в каждом вузе, и Валя внимательно отслеживала объявления о вакансиях. А дальше все обсуждения шли в двух вариантах: в первом разговор по телефону доходил до вопроса о фамилии и тогда представитель кафедры говорил: «У нас много претендентов, пожалуйста, вам не стоит тратить времени и привозить документы». Во втором, если небдительный кадровик по телефону утверждал, что такие специалисты, как Валя, им крайне нужны, после взгляда на Валины документы он говорил с сожалением: «Очень жаль, но пока вы ехали, мы уже наняли другого специалиста».

Мои двоюродные и пр

У меня не так много двоюродных братьев и сестер, как могло бы быть по числу дядь и тетя, а в силу разницы в возрасте и больших расстояний общались далеко не со всеми.

Мама больше дружила с самой старшей сестрой, тетей Евой. У неё было два сына. Толя был старше меня на 14 лет и очень мне нравился. Он подшучивал, чтобы я быстрее росла и тогда он на мне женится, поэтому на его свадьбе (мне было лет восемь) я устроила истерический плач, крича, что он обещал жениться на мне. Его жена Ада было пышной красавицей с прекрасными рыжими волосами, каких я никогда и ни у кого не видела. Оба учились, кажется, в авиа-технологическом, Ада выросла до начальника большого бюро, Толя занимался изобретателями.

Его младший брат, Володя, был Валиным сверстником. В раннем детстве он перенес полиомиелит и тогда же принял не изменяемое с годами решение стать врачом, чтобы такое с другими не случилось. Он поступил во второй медицинский, во время «дела врачей» чуть не был исключен из института и комсомола за дружбу с однокурсницей – дочерью одного из обвиняемых (кажется, умершего в тюрьме профессора Этингера).

После окончания института Володю послали (распределили) в Калужскую область, где он проработал три года.

Несмотря на то, что ему с больной ногой приходилось месить грязь калужских деревень, он считал во благо возможность, которую он бы не имел в Москве, делать различные операции и вернуться опытным хирургом. Больная нога была еще и короче, поэтому Володя делал операции, опираясь фактически на одну ногу.

После возвращения в Москву Володя поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, в 36 лет докторскую, существует какой-то специальный «шов Ривкина». При всем напускном цинизме, когда речь идет о больных и здоровье, Володя на самом деле не раз показывал себя предельно отзывчивым родственником.

В юности, когда я болела, Володя не раз приезжал с пересадками через всю Москву, устраивал встречи со специалистами. Помню, что после окончания школы приезжал уговаривать меня поступать в медицинский, иногда жалею, что упиралась. Когда устал оперировать, Володя стал заниматься информацией, писал и пишет книги. Кроме множества книг по специальности, издал очень полезную научно-популярную «Здоровье и болезни. Книга для пациентов».

Наверное, какая-то особая тяга к знаниям передалась нашему поколению Фонштейнов через родителей еще от бабушки с бабушкой, так что все «двоюродные» получили высшее образование. Самым старшим пришлось труднее, в том числе материально, поэтому Нюся (дочь старшего папиного брата) с началом войны вынуждена была пойти работать, не

получив диплома (кстати, неверно сказать, что никто в нашем поколении не попал в МГУ, она училась на философском факультете МГУ, в одной группе со Светланой Аллилуевой-Сталиной). После эвакуации она вернулась на кафедру в качестве лаборантки, потом ассистентки и работала там до самой смерти, будучи хранителем наследия академика Б. А. Фохта. Именно благодаря Нюсе (А. А. Гаревой) были посмертно изданы его неизвестные труды.

Ее брат Зоня доучивался на вечернем факультете полиграфического института и, сколько я его помню, был директором типографии, помогая всей родне с экспрессным изданием наших (и наших детей) авторефератов диссертаций.

Лиля и Юля – дочери старшей папины сестры. Лиля преподавала в школе немецкий язык. Ее муж Митя Френкель, как и младшая сестра, Юля, окончили институт востоковедения, специализируясь на фарси. Юля потом все годы работала в издательстве иностранной литературы «Мир». Кстати, В. В. Жириновский до его головокружительной карьеры командовал там профсоюзом и, по словам Юли, славился умением выбивать путевки для сотрудников и клоуном еще не был.

В отличие от Юли, Митя после окончания института несколько лет работал в Азербайджане, по специальности, на границе с Ираном. После этого он до недавнего (за восемьдесят пять) возраста работал в институте Африки, защитив там кандидатскую и докторскую диссертации.

В качестве докторской диссертации Митя защищал изданную книгу «Либерия и США». При этом сам Митя выездным не был до самых недавних лет, когда после смерти Лили он посетил внучку в Канаде. По-видимому, чувствуя некоторую вследствие этого факта неловкость и зная его филателистские пристрастия, его коллеги, посещая Либерию, привозили ему марки. Он мне показывал полный набор марок Либерии, начиная от первой, выпущенной после образования страны. Может, это и заменяло ему возможность самому увидеть Либерию, про которую столько знал и писал.

Когда мне было восемь, в квартире заболел скарлатиной соседский мальчик, и меня отправили спасать от заразы к тете Софе. Её сын, двоюродный братец Эдик, был младше Лёни, сына покойного папиного брата Макса, на год. Они и жили близко и дружили с детства и всю жизнь. Моя ссылка пришлась и на Первое мая. Эдик шел на демонстрацию со школой, и Леня тоже как-то к нам присоединился.

Оба были интеллектуальными хулиганами, обдумывали-обговаривали очередные каверзы – наверняка для привлечения внимания девиц (тогда было еще отдельное обучение), а меня вели на сильно вытянутой руке, чтобы не портить слух воспитанного ребенка.

Как и все Фонштейны, Леня отлично учился, однако не мог и мечтать об МГУ, поступив в Тимирязевскую академию, после которой был направлен на целину в качестве селекционера.



Двоюродный брат Лёня

Я в восемнадцать вышла замуж, когда Лёня и Эдик еще не были женаты. На моей свадьбе оба озорника исходили шутками про Рабиновича (фамилия моего мужа), но мое замужество их как-то подтолкнуло, так что мой Миша был всего на год старше Оли (дочки Лени) и на два – Наташи (дочки Эдика).

Миша с пяти лет интересовался биологией, и мы старались чаще общаться с Леней и его женой (биологами), а позже и Лёня с Наташей поддерживали эти участившиеся и укрепившиеся контакты, чтобы Миша потянул в биологию и Олю. Что и случилось, и оба поступили в МГУ. Помимо личной симпатии (Лёня был очень обаятельным человеком), нашей близости и дружбе способствовало и жильё по соседству в Москве, не говоря уже об общей внучке.

За кандидатской последовала докторская диссертация, Леня стал заметной фигурой в генетике, но его жена, Наташа Ломовская, ученица С. И. Алиханяна (одного из немногих, кто не согнулся в 1949-м под Лысенко после статьи Жданова во время знаменитого съезда ВАСХНИЛ и фактического разгрома генетики Союза) защитила докторскую диссертацию еще раньше. Она очень знаменита, создав штамм, оказавшийся оптимальным реципиентом изолированных ДНК, который используется лабораториями всего мира, работающих с актиномицетами.

Братец Эдик, следуя отцовским способностям (дядя Иса-

ак был скрипачом Государственного симфонического оркестра), окончил музыкальную и параллельно (с золотой медалью) обычную школу. Будучи шпанистым парнем, когда на выпускном вечере объявили его фамилию, он сыграл сначала себе, как и другим, туш, и только потом пошел получать аттестат с золотой каемочкой. Окончил Горный институт, в тридцать девять защитил докторскую диссертацию и вскоре на всю оставшуюся жизнь перешел в Академию народного хозяйства, учить математическим методам экономики будущих руководителей партии и Правительства.

Мы часто общались и всю жизнь дружны с Эдиком. В подростковом возрасте были очень похожи (как видно и из фотографии).



Двоюродный брат Эдик

Эдик терпел (с трудом) мои капризы с едой, когда я была на его попечении, ходил со мной на собеседование в Институт стали, способствовал переходу в АНХ в момент моего профессионального кризиса. В детстве живчик, активный горнолыжник, до недавнего времени ездил с Людой то на Медео, то на Лейк Плесид. Не знаю, как в Казахстане, но в США ему как super senior подъемники бесплатны.

Папина смерть

В 1955-ом мы уехали на лето на Украину, в ныне затопленный под Кременчугским водохранилищем Крюков-на-Днепре, где находился очередной вагоностроительный (с обязательным танковым цехом) завод и куда должен был приехать папа сначала в командировку, а потом остаться с нами проводить отпуск.

Кажется, мы там были уже не в первый раз, я плавала в не очень глубоком прибрежье Днепра, валялась на песке, хватала с веток кисло-сладкую шелковицу, дружила с местными ребятами, про которых писала сентиментальный рассказ.

В июле, когда кончился учебный год в школе, приехала озабоченная Валя. Папа вернулся из очередной командировки и очень жаловался на глаза. Когда она на вокзале (он ее провожал) напомнила ему сходить к врачу, соседка по вагону пожурила: «Нехорошая примета – перед расставанием говорить про болезни», и Валу это тяготило.



В середине июля, когда мы его ждали, папа не приехал. Телефона в доме не было ни в Москве, ни в Крюкове, мама писала письма. От папы пришло разъяснение: «У меня опять разболелась нога, и я лег в больницу» (у него был жестокий тромбофлебит заядлого курильщика).

Валя была в некоем недоумении: жаловался на глаза, а в больнице с ногой, зато мама успокоилась: с ногой – это рутина. В течение пары недель от папы регулярно приходили успокаивающие оптимистические письма, пока 7-го августа вдруг не пришла телеграмма от маминой сестры: «Срочно приезжайте. Миша в больнице, не слушается врачей».

У нас были билеты с прибытием в Москву 17-го августа, и мама засуетилась, написала папе подробное письмо. Я его многократно потом перечитывала и хорошо помню: «Миша, ну что же ты? Почему ты не лечишься, как положено? Не хочется срывать, Ниночка так хорошо поправляется» (мой плохой аппетит был притчей во языцех, пока все та же мама лет через двадцать не стала указывать мне на противоположную склонность).

Из-за моей прибавки в весе на три килограмма мы не поехали немедленно, но все-таки стали собираться: покупать груши и еще что-то с собой в Москву. Папа подбодрил телеграммой, которая пришла в субботу 13-го утром: «Родные мои. Чувствую себя прекрасно. Жду вас 17-го». Мы разве-селились, собрались было в кино на вышедший недавно по-

пулярный «Возраст любви», но разразилась гроза, и мы провели вечер дома, не подозревая, что ночью папы не станет.

Утром следующего дня пришел почтальон, сказал, что в воскресенье телеграф в Крюкове не работает, а в Кременчуге (на другом берегу Днепра) на почте нас ждет телеграмма: «Важная. О жизни или смерти» (так он обозначал категорию телеграммы, которую нам не доставили). Мама тут же вскрикнула: «Папа умер», за что мы ее в два голоса осудили, чтобы не хоронила живого.

Валя побежала за телеграммой, которая маму обрадовала потенциальной надеждой: «Срочно выезжайте. Миша при смерти».

Пока мы меняли билеты, пока добирались до поезда и ехали с пересадкой в Харькове в Москву (лететь самолетом никому и в голову не приходило), мама непрерывно повторяла вслух: «Миша, ты только меня дождись, все будет хорошо, ты только меня дождись... ты только меня дождись...».

А мы уже дозвонились с Крюковской почты в Москву и знали, что папа умер ночью 13-го. Валя не решалась сказать маме правду, тихо рыдала в платок, за что мама ее поругивала: «оплакиваешь живого». Правду маме мы сказали перед самой Москвой, за время дороги Валя заметно поседела.

17-го были похороны, и постепенно мы узнали правду, которая особо окрасила в моей памяти не только мужество отца, но и его любовь к маме.

Оказалось, что врачи почти сразу установили диагноз от-

ца: энцефалит, который был результатом клещевого укуса, когда в мае папа был в командировке в Нижнем Тагиле (как выяснилось, в том году была эпидемия этой болезни). В их группе командировочных было шесть человек, заболел только папа – наверно, его организм был ослаблен войной.

В папином варианте стволового энцефалита поочередно оказывались парализованными веки, челюсть, дыхательные пути. Папа руками приподнимал веки и писал бодрые письма маме. И еще просился у врачей хотя бы временно домой, чтобы покрасить полы к нашему приезду. Когда парализовало челюсть, его начали кормить трубкой. Дыхательные пути в первый раз парализовало 7-го, но папу отходили.

Он держал мамины письма под подушкой, чтобы сестры, которые его регулярно навещали, не узнали нашего адреса в Крюкове и не написали бы маме. Когда папа был без сознания, тетя Софа достала одно из писем и послала нам телеграмму за подписью тети Евы, старшей маминой сестры, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, раз и та вовлечена.

Папа был уже не в силах отвечать письмом на мамины упреки, что он не слушается врачей, «в то время как Ниночка поправляется». Он попросил медсестру отправить ту последнюю его телеграмму о том, что он чувствует себя прекрасно, а сестрам устроил возмущенный нагоняй: у Ани большое сердце, ее нельзя волновать, и писать ей он категорически запрещал.

Это могло произойти на день раньше или позже, но в ту же ночь случился очередной паралич дыхательных путей, от которого его не спасли.

То, что произошло с отцом, сегодня профессионально описывают как острый бульбарный паралич, лечения от которого не существует и поныне.

Пишу, сколько себя помню

Шел 1950-й, мы на лето приехали под Брянск, в Сельцо, куда папа был направлен в командировку (очередной вагонно— или паровозостроительный завод, где, по крайней мере, в одном цехе делали танки, – таковы были типичные маршруты папиных командировок и куда шли прорисованные им кальки).

Я все лето что-то писала. Писала слабо разборчиво на кальке (карандашом!) о шпионах, потому что папа показал, как близко проходила граница с Польшей до 1939-го года. Совсем рядом в лесу было много могил со времен недавней тогда войны, так что смесь слышанного и виденного в кино в быстром темпе производила засаженных еще до войны шпионов, возможно, еще и бдительных пионеров.

Вспоминается, как через несколько лет Лев Кассиль в Московском Дворце Пионеров рассказывал о своем первом рассказе. Загордилась было аналогией, что и у него он был про шпионов (правда, иностранных), но смешно было (он умел рассказывать или даже читать отрывки известных и хорошо знакомых своих рассказов так по-новому весело, что мы от смеха падали со стула), как он решил проблему американской фамилии.

За стеной его комнаты соседи крутили по радио иностранную станцию, и там звучало неким загадочным рефреном:

«Kiss me quick», и так появился мистер Кисмиквик, американский шпион.

Как лично я решала проблемы с фамилиями шпионов, не помню. Зато помню, что покупала небольшие записные книжки в клеточку и какую-то повесть писала (и написала) про любовь, потому что было мне уже лет четырнадцать, заполнив нечитаемым мелким почерком две таких, синюю и красную.

Мама меня всерьез не воспринимала, но соседка по даче, Людочка, которой дала читать, потому что она была красивой блондинкой, какой хотела бы стать и сама, говорила «Сам факт, что она довела сюжет до конца, важен сам по себе».

Наверно, в Штатах я бы поняла, что без странности письма мое место – придумывать сюжеты, а диалоги будет писать кто-то другой, но объяснить мне это было некому, и я настроилась стать писательницей. И здесь нельзя обойти исключительную роль Григория Горина.

О Григории Горине

Я была, по-видимому, хорошей пионеркой, читала «Пионерскую правду», журнал «Пионер». С «Пионерской правдой» было болезненное разочарование (и одно из первых открытий про непопулярность моей фамилии). Я была председателем совета отряда – наверно, это было где-то до шестого класса, потому что в седьмом я уже была председателем совета дружины.

Не знаю, чем выделялся мой отряд, наверно, просто выпал черед по разрядке, но приехал из Пионерки их корреспондент, мало кому тогда известный молодой Александр Хмелик (запомнила фамилию, потому что сначала выискивала эту подпись, а потом узнавала в разных его ипостасях, вплоть до создателя киножурнала «Ералаш»), много чего расспрашивал, записывал фамилии. Довольно вскоре появилась и статья про дружных девочек, творивших какие-то благородные поступки, было много фамилий моих одноклассниц (школа тогда была исключительно женская), а про какой-то факт, однозначно связанный с моей незаменимой ролью, было отмечено безымянно: «председатель совета отряда».

С «Пионером» были другие пересечения. Уже в течение нескольких лет я время от времени читала веселые басни (чаще всего на политические темы), подписанные одним и

тем же именем – Григорий Оффштейн, ученик... класса... школы... Литературная студия городского Дома пионеров.

Когда я перешла в 8-й класс (в той же, но уже совместной с мальчиками школе), возникла надежда, что мама разрешит мне самостоятельно ездить на метро и отодвигаться от нашей улицы. В первое же воскресенье я поехала до станции Кировская искать переулок Стопани, где был расположен заветный городской Дом пионеров.

Телефоном я еще не пользовалась, поэтому остается загадкой, как я сумела попасть вовремя на встречу с руководительницей литературной студии. Наверняка я заявила, что пишу рассказы и хочу писать лучше и больше. Вера Ивановна Кудряшова оставалась в моей жизни еще много лет, но только сейчас я понимаю важность ее доброжелательности и терпения, чтобы работать с такими самонадеянными и часть нетерпимыми к сомнению в их таланте подростками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.